

Вифлеемский огонь

Гляжу в окно – а там падает снег. Я откладываю работу и, с молотком в руке и гвоздиком во рту, подхожу к окну нашей мастерской для инвалидов. Прижимаюсь лбом к холодному стеклу и, как дурак, смотрю на это, потому что за год я совершенно забыл, какая это красота – первый снег. Везде сплошная грязь: двор с сараями мы топчем, когда балуемся с мячом во время перерывов или монетки кидаем – кто дальше, а теперь еще и снег. Я смотрю на него и вижу, что он, собственно, и не падает. Большим слипшимся хлопьям не хочется лететь в эту слякоть. Потому что они видят, что случилось с теми, которые туда упали: им крышка. И вот они изо всех сил стараются задержать падение, кружатся как те белые балерины, что в телевизоре изображают лебедей, что-то вновь поднимает их вверх, ура, мы еще живы, и только когда они больше не могут сопротивляться, они падают на землю и тают.

Я должен рассказать об этом папе. Он скажет: «Какой ты наблюдательный, дружок. Кто бы еще мог до такого додуматься». Я люблю, когда папа меня хвалит. В такие моменты я счастлив, как слон.

Но вот я уже вижу, что некоторые хлопья не умирают на крыше сарая. Значит, у нас будет белое Рождество. Папа говорит, что настоящее Рождество должно быть белым. Я уже не верю, что подарки приносит младенец Иисус. Я верил до пятнадцати лет, потому что я умственно отсталый, и до нас доходит с запозданием. «Про младенца Иисуса – это все сказки, Петр, – сказал мне папа в прошлом году. – Но сам Иисус существует, помни об этом. Если бы не было Спасителя, мы бы страдали еще больше». Папа говорит, что, не будь Христа, они бы с мамой не смогли нести этот крест. Так что я запомнил, что младенца Иисуса нет, а Иисус есть. Я люблю папу, но часто сержу его. Главным образом тем, что много говорю и беспрестанно задаю вопросы. Было бы лучше, если бы я молчал. Я пытаюсь, но у меня не выходит.

«Петр, не глазей без дела, а работай!» – кричит мне наш мастер.

Так что мне приходится отойти от окна вернуться к верстаку. Мы мастерим скворечники и кормушки для птиц. Скворечники я делать уже умею, а вот кормушки – это целая наука. Особенно козырьки. За скворечники я получил пятерку, а за кормушки – тройку. Видели бы вы, какую кормушку смастерил Индра! Мастер сказал ему:

– Индра, ты смотрел «Морозко»?

– Смотрел.

– Так вот это не кормушка, а избушка на курьих ножках. Птицы ее испугаются, зато для Бабы Яги это идеальное жилище.

Мы смеялись всей мастерской. Томик от радости так колотил молотком по тискам, что искры летели, а Кая, который еще более отсталый, чем я, все повторял: «Для Бабы Яги! На курьих ножках!». Индра сначала не смеялся и, похоже, собирался заплакать, но потом тоже захохотал и был рад, что так развеселил нас своей кормушкой.

Я не знаю, откуда наш мастер берет все эти шутки. Они нам так нравятся, что мы постоянно просим его рассказать еще раз, но он говорит, что, если повторять шутку – она перестает быть смешной. Теперь он стоит у окна и тоже смотрит на снег.

«Ребята, скворечники оставим до весны, - говорит он, стоя к нам спиной. – Снег завалит все, чем птицы могли бы прокормиться, так что, если на что и будет спрос, так это на кормушки. Люди их у нас с руками оторвут».

Кая спросил, почему мы должны будем лишиться рук, но мастер забрал у него выпиленные для кормушек дощечки, положил на его верстак чертеж кормушки и сказал: «Помолчи и держи молоток за конец рукоятки, иначе я тебе сам руки оторву».

О том, что нужно держать молоток за конец рукоятки, я знаю уже давно. Мастер говорит: «Это, ребята, самое главное. Я, когда вижу, что кто-то держит молоток не за конец, сразу понимаю, что такой работничек только баклуши бить способен. Вот когда мы станем бить баклуши – можете держать молоток так же, как и Кая». Это тоже шутка, про баклуши-то. Вот только Кая этого не понимает, и думает, что когда-нибудь наша мастерская будет производить баклуши. Я прибиваю стенки кормушки и держу молоток за самый конец так, чтобы мастер это видел.

Папа ждет меня на улице. У него на голове его практичная кепка, а в руках потертый портфель. Кепка практичная потому, что у нее есть накладки на уши, которые обычно спрятаны внутри, а в зимнее время их опускают. Сейчас они закрывают папины уши, потому что пришла зима.

– Я тоже хочу практичную шапку, – говорю. А папа на это отвечает:

– Для начала давай здороваемся, Петр.

– Привет, папа, – говорю я.

– Здорово, Петр, – говорит папа и целует меня.

– Я тоже хочу практичную шапку.

– Сначала мы сходим к врачу, я тебя записал, – папа берет меня за руку, потому что нам нужно перейти улицу, а я опять могу ненароком выскочить перед какой-нибудь машиной, водители начнут сигналить и хвататься за голову: что это за дурак такой.

Доктор Минцирж берет меня обеими руками за плечи и говорит, что я расту, как на дрожжах.

– Ага, – говорю я.

– Принимаешь лекарства?

– Принимаю.

Я нахожусь так близко к доктору Минциржу, что слышу, как у него свистит в носу, из которого лезут наружу черные волосы.

– У тебя мускулы, как у Геракла, – говорит он и щупает меня руками. – Видно, что работаешь.

– Пан доктор, у вас изо рта воняет, – отвечаю я. Наверное, не надо было.

– Петр! – вскрикивает папа.

Но доктор улыбается, подается назад и говорит:

– Ничего страшного. Наверное, это правда.

– Да, это правда. Лгать нельзя, – говорю я.

– Вот видите, – говорит папа, – такие вещи он говорит каждому встречному. Он не понимает, что прилично, а что – нет.

– Это соответствует диагнозу. Как там с недержанием? – спрашивает доктор.

– Он уже не писается, – отвечает папа, и это правда.

Пока доктор что-то записывал в компьютер, я хотел рассказать ему о снеге и о том, как ему не хотелось падать на землю, чтобы он знал, какой я наблюдательный, но папа сказал, что у доктора нет времени, и мы поговорим на улице.

На улице я снова сказал, что хочу практичную шапку. Папа вздохнул и посмотрел, есть ли у него в кошельке деньги на шапку, и мы пошли. Но в магазине не было такой практичной шапки, как у папы. Сказали, что такие уже не делают. Я заплакал.

«Такой большой, а плачет», – сказала продавщица и хотела натянуть мне на голову другую. Но у меня большая голова, поэтому пришлось примерить еще несколько, все мне были малы, так что в конце концов папа купил мне вязаную шапку, которую можно было натянуть на уши. Я так и оставил ее на голове, потому что мне понравилось, как она смотрелась в зеркале. Я выглядел в ней, как спортсмен.

В автобусе папа всегда сажает меня у окна, чтобы я мог наблюдать пейзаж. Пейзаж составляют различные фабрики, заборы и склады.

– Хочу мобильник, – сказал я.

– Какой малинник? – удивился папа.

– У всех есть мобильники, все звонят друг другу.

– Видишь, как ты опять говоришь. Произносишь «малинник», а думаешь «мобильник». Говори как следует, – сказал папа, потому что некоторые слова у меня выходят искаженными.

– У Индры есть, у Радека есть... – загибаю пальцы.

– Отец Индры продает автомобили, поэтому он может себе это позволить. У нас на мобильники денег нет. Нам хватает только на стационарный, – говорит папа.

– Стационарный дома, – говорю я.

– Да. Дома есть стационарный телефон, и ты можешь позвонить тому, у кого тоже стационарный. Потому что звонки с домашнего на мобильный гораздо дороже, о чем, надеюсь, тебе известно.

– Да, это я знаю. С мобильного я бы звонил на мобильный. Вот только у меня его нет, – отвечаю.

– А кому ты будешь звонить, скажи, пожалуйста? – спрашивает он.

– Индре или Радеку.

– Тебе не нужно говорить с ними по телефону. Вы видите в мастерской. Каждый день. О чем бы ты стал с ними говорить? О ерунде какой-нибудь.

– Как у них дела, что делают...

– Вот-вот, ерунда и есть, – говорит папа.

– Я бы позвонил тете Квете.

– Тетя Квета отключила домашний телефон, хотя я убеждал ее не делать этого. Но она отключила, и с тех пор я с ней не разговаривал, потому что не могу позволить себе такой разговор. При моей-то зарплате.

Мой папа – главный кладовщик на пряничной фабрике и молится о том, чтобы не потерять это место. Он говорит, что если китайцы начнут делать пряники, то они будут такими дешевыми, что нашу фабрику закроют. И тогда все работники покатаются, как на смазанных лыжах.

За окном автобуса уже не фабрики, заборы и склады, а белые поля и заснеженные лески. Мне приходит в голову, что сегодня как раз отличная погода, чтобы работники могли пойти покататься. Мне это кажется хорошим наблюдением, и я хочу поделиться им с папой, но он меня опережает:

– Со стационарного телефона ты можешь звонить тете Либуше. Только ты ей даже раз в год не позвонишь.

– Потому что тетя Либуше – старая клуша, – говорю я, а папа на это:

– Ну, это ты тоже хорошо придумал, сказать ей такое.

– Ты про нее так говорил!

– Да. Но это не значит, что, если я дома, понимаешь, дома между нами говорю, что тетя Либуше – старая клуша, то ты при первом удобном случае скажешь ей об этом в

лицо. Ведешь себя, как маленький ребенок. Сегодня у врача опять отличился. И закрой рот, дыши носом, – злится папа и, конечно же, думает, что я забуду о мобильнике и оставлю его в покое. Но это он пальцем в небо попал. Это папа так говорит: «Ты попал пальцем в небо».

– Я бы позвонил тете Квете, – говорю.

– Позвонил бы раз, и все. Я тебя знаю, – отвечает папа.

Я хочу сказать ему, что мобильник стоит всего крону, но папа строго посмотрел на меня, потом глянул в окно, потом снова на меня, и до меня наконец доходит, что случилось: мы едем мимо церкви, а я забыл перекреститься. Крестное знамение делается так же, как если бы вы хотели взять щепотку соли, но вместо этого касаетесь лба, груди, левого плеча а затем правого плеча.

После того, как мы оба перекрестились, я сказал:

– Он стоит всего крону. У Индры мобильник за крону.

– Опять ты говоришь «малинник» вместо «мобильник». Говори как следует. Ведь говоришь хорошо, когда хочешь. За крону! Ты не понимаешь, как сотовые операторы это делают. Ты оплачиваешь все их дорогие услуги, тогда они дают тебе мобильник за крону, потому что это окупается.

– Индрин стоит крону! Он говорил!

– А сколько всего заплатил его отец он, конечно, не уточнил.

– Он сказал, крону, – повторяю я, и мне опять хочется заплакать.

– Что с тобой разговаривать. Если ты не можешь что-то понять, ты должен мне верить. Мы не можем разбрасываться деньгами. И не похоже, что в ближайшее время будет лучше. Это счастье, что у меня есть работа. Но разбрасываться деньгами я не могу, верь мне. Электроэнергия, квартплата, мама будет сидеть на пособии, пока что-нибудь не появится, а ты пристаешь с мобильником.

– У всех есть малинник, – сказал я, а папа ничего не ответил, а только сложил руки, как для молитвы перед обедом и глядел в потолок автобуса.

Я сержу папу, но люблю его. А маму люблю еще больше. Мама – она как теплое полотенце. Когда я моюсь в ванне, мама следит, чтобы я везде как следует вымылся, а потом снимает с батареи нагретое полотенце, которое называется Фроте, а когда я встаю, заворачивает меня в это теплое полотенце и руками как бы гладит меня, пока кожа не станет сухой, и это лучшие моменты в моей жизни. Это даже лучше, чем когда мастер хлопает меня по спине и говорит: «Хорошо работаешь, Петр».

Она работала на почте, но нашу почту закрыли. Когда мы с ней дома одни, мама слушает грустную музыку на радио «Влтава» и печет штрудель с орехами и яблоком, это мое любимое лакомство. Я жду не дождусь, когда он будет готов и гляжу через стекло внутрь духовки и от нетерпения всеми пальцами ковыряюсь в волосах, словно обезьяна. Мама знает, что я так делаю, когда у меня болит голова. Она садится на диван, который мы называем арфой, потому что он издает такие звуки, и говорит: «Иди сюда, Петенька». Я сворачиваюсь, как в детстве, калачиком, кладу голову ей на колени, а она своими руками, пахнущими тестом для штруделя, так искусно гладит меня за ушами, что боль уменьшается, уходит и уходит, пока не уйдет совсем, а мама приговаривает: «Ну, вот. Вот видишь». Не знаю только, почему ее голос звучит грустно, когда мне так хорошо. Наверное, из-за этой грустной музыки на радио «Влтава».

Под Рождество отовсюду слышны колядки. «Христос родился», «Несем вам новость», «Спи, Иисусе, спи», «Поспешают к Вифлеему пастушки» ... Вот эту я знаю, но у меня нет слуха, чтобы петь. Папа, я слышал, готовит нам в этом году большой сюрприз. По этому поводу он куда-то ходил, весь замерз, и его пришлось размораживать в ванне с горячей водой. Мама пошла кормить кроликов. Я захожу на кухню и вижу, что на столе оставили горящую свечку. Я сразу вспомнил, что мне говорил папа: «Петя, заруби себе на носу, что свечка – это открытый огонь, и она не должна гореть без присмотра. От этого случается больше всего пожаров», – поэтому я задул ее.

Когда мама вернулась от кроликов и увидела, что свечка не горит, а от фитиля к потолку поднимается дымок, она страшно испугалась.

– Петя! Ты что, задул ее? – прошептала она с вытаращенными глазами.

– Задул, – сказал я, понимая, что совершил преступление.

– Спички, скорее спички! – мама залезла в стол и зажгла свечку.

Из ванной донесся плеск: это папа вылезал из ванны.

Мама убрала спички обратно в стол и разгладила скатерть. Потом мы услышали, как папа поет «Поспешим в Вифлеем».

– Иди сюда, сядь, – сказала мама испуганным голосом, и я сел на арфу рядом с ней.

– Петр, слушай теперь внимательно. Ты должен пообещать мне, Петр, что не скажешь папе, что ты задул свечку, понимаешь? Меня бы это очень расстроило, понимаешь?

– Да, – сказал я, хотя ничего не понимал. Я знал только то, что совершил что-то страшное.

– Свечка все время горела. Ты ее не задувал!

– Задул, – тихо сказал я.

– Не задувал! – мама так стиснула мою руку, что стало больно.

Вот наш папа уже вышел из ванной комнаты. Он зачесал мокрые волосы на пробор, и их было меньше, чем когда они были сухими. На нем была праздничная рубашка и красная жилетка, которую ему связала мама, и от него приятно пахло. Он улыбнулся нам и сказал:

– Идите к столу.

Тогда мы с мамой встали, арфа сыграла свою песню, а мы сели напротив папы. Папа сложил руки и сказал:

– Слушай внимательно, Петя, я тебе кое-что расскажу. Пламя, которое ты видишь перед собой – не простое. Это Вифлеемский огонь. В Вифлееме, и ты это хорошо знаешь, родился...?

– Младенец Иисус, – сказал я.

– Да. Вот этом-то городе горит тот самый огонь, который сегодня у нас на праздничном столе. Верующие люди там от этого святого огня зажгли лампаду и по воздуху, понимаешь, самолетом доставили его в Вену. А в Вене его ждали наши скауты, христианские ребята, чтобы от этой лампы зажечь свою собственную и на поезде привезти эту горящую лампаду к нам. И на каждой станции, на которой поезд делал остановку, ждали другие скауты со своими лампадками, зажигали их и передавали огонь людям на платформе, которые разносили его по своим домам. А сегодня на нашем вокзале с лампадкой стоял я. Нас, верующих, там было очень много, ты не поверишь. А когда мы расходились, мы выглядели как жучки из книжки, которую я тебе читал. Были мы как жучки с фонариками, нам только крылышек не хватало. Когда я добрался до дома, масло в лампадке уже кончалось. Представляешь, что бы было, если бы оно кончилось! Но его хватило, и я успел зажечь от нее вот эту нашу свечку.

Папа протянул руку над свечкой, чтобы согреться от огонька, который мама зажгла нашими спичками, а у меня начало покалывать за ушами, как это всегда бывает, когда мне не терпится сказать какую-нибудь правду, например, что тетя Либуше – старая клуша и прочие правды, поэтому я сделал вдох и сказал:

– Но пап, ведь эта свечка...

В этот момент мама под столом так стиснула мою руку, что я заскулил от боли, и сказала:

– Да, Петя, эта свечка уникальная. Потому что не у всех есть такой папа, который бы отправился в мороз ждать на вокзале поезд, чтобы принести домой огонь из самого Вифлеема.

– Помолимся, – сказал папа.

И пока мы повторяли за ним слова молитвы, мама смотрела на меня мокрыми от слез глазами и кивала головой, как бы говоря: «Ну, вот. Вот видишь». И у меня перестало колоть за ушами, хотя я и удержал эту правду в себе. Не знаю даже, как мне это удалось.